

V. Румыния вступает в войну.

Воскресенье, 20 августа.

Я говорил в последнее время со многими лицами из различных лагерей. Резюмируя все, что они заявили, или, может быть, еще больше то, о чем они умолчали, я прихожу к следующим выводам.

Без императора и без его вedomа камарилья императрицы старается дать русской политике новую ориентацию, иначе говоря, подготовить примирение с Германией. Главная причина—боязнь, испытываемая реакционной партией при виде того, как Россия поддерживает тесные и длительные сношения с демократическими государствами Запада (я уже несколько раз приводил это соображение). Кроме того, имеет значение еще общность интересов—промышленных и торговых, которая связывала Германию и Россию до войны и которую нетерпеливо стремятся восстановить. Наконец, посредственный результат недавнего наступления русских войск на Двине доказал, что военное сопротивление Германии далеко еще не истощено. С другой стороны, победы, одержанные в Галиции и Армении, приучили к мысли, что выгоды от войны надо искать скорее в Австрии и Турции, чем в Германии.

Вторник, 22 августа.

Бывший министр земледелия Кривошеин, несомненно, самый широкий и самый выдающийся ум среди либеральных империалистов, говорил мне как-то об упорном, непреодолимом сопротивлении, на которое наталкивались со стороны императора, когда ему советовали способствовать эволюции царизма в направлении к парламентарной монархии; Кривошеин закончил свои слова следующей безнадежной фразой:

— Император останется навсегда учеником Победоносцева.

В самом деле, именно знаменитому верховному прокурору святейшего синода, — близкому сотруднику Александра III, — Николай II обязан всем своим нравственным и политическим багажом. Выдающийся юрист, ученый богослов, фанатический поборник православия и самодержавия, Победоносцев вносил в защиту своих реакционных взглядов пламенную веру, экзальтированный патриотизм, глубокую и непреложную убежденность, широкое образование, редкую силу диалектики, наконец, — что покажется противоречием, — совершенную простоту и великое обаяние манер и речи. Самодержавие, православие и народность, — этими тремя словами резюмировалась вся его программа, и он преследовал проведение ее с чрезвычайной суровостью, с великолепным презрением мешавших ему явлений действительности. Как и следовало ожидать, он проклинал „новый дух“, демократические принципы, западный атеизм. Его упорное и ежедневно возобновлявшееся влияние наложило на податливый мозг Николая II несмываемую печать.

В 1896 г., т.-е. как раз тогда, когда он закончил политическое образование своего молодого монарха,

Победоносцев выпустил книгу: „Мысли“. Я только-что ее дочитал и беру из нее следующие характерные соображения:

„Один из самых ложных политических принципов—принцип народного верховенства,—идея, к несчастью, распространенная со времени французской революции, что всякая власть приходит от народа, имеет источником народную волю... Величайшее из зол конституционного режима—образование министерств по парламентскому методу, основанному на количественном значении партии... Нельзя отделять тело от духа. Тело и дух живут единой нераздельной жизнью... Атеистическое государство—лишь утопия, так как атеизм есть отрицание государства. Религия—духовная сила, создающая право. Вот почему наихудшие враги общественного порядка никогда не упускают случая заявить, что религия—личное и частное дело каждого... Легкость, с какой дают себя увлечь общим местом о верховенстве народа и индивидуальной свободе, приводит к всеобщей демократизации и ослаблению политического чувства. Франция представляет для нас в настоящее время поразительный пример такой деморализации и такого ослабления; зараза проникает уже в Англию...“

Воскресенье, 27 августа.

Русская армия блестяще развивает свои операции в гористой Армении. Она недавно заняла Муш, к западу от озера Ван. Турки отступают от Биглиса на Моссул.

Понедельник, 28 августа.

Вчера Италия объявила войну Германии, осуществив, таким образом, свой разрыв с германизмом, а Румыния объявила войну Австро-Венгрии.

Вторник, 29 августа.

Бывший председатель совета министров Коковцев находится проездом в Петрограде. Я пойду к нему сегодня после полудня.

Я нахожу его настроенным более пессимистически, чем когда-либо. Огставка Сазонова и генерала Беляева беспокоят его в высшей степени:

— Императрица, — говорит он мне, — будет теперь всемогущей. Штюмер, человек бездарный и тщеславный, но не лишенный лукавства и даже тонкости, когда дело касается его личных интересов, очень хорошо сумел овладеть ею. Он регулярно бывает у нее с докладами, информирует ее обо всем; совещается с ней обо всем; обращается с ней, как с регентшей; он поддерживает в ней мысль, что император, получивший власть от бога, никому, кроме одного бога, не обязан отчетом и, следовательно, всякий, кто позволяет себе противоречить царской воле, оскорбляет бога. Вы представляете себе, как подобные речи действуют на мозг мистически настроенной женщины!... Так, Хвостова, Кривошеина, генерала Поливанова, Самарина, Сазонова, генерала Беляева и меня считают теперь революционерами, изменниками, безбожниками!

— И вы не видите никакого выхода из этого положения?

— Никакого!.. Это положение трагическое.

— Трагическое?... Не слишком ли сильно сказано?

— Нет. Поверьте мне! Это положение трагическое. Эгоистически я поздравляю себя, что я больше не министр, что на мне не лежит никакой ответственности за готовящуюся катастрофу. Но, как гражданин, я плачу о своей стране.

Глаза его наполняются слезами. Чтоб справиться с своим волнением, он раза два-три быстро пробегает по кабинету. Потом он говорит мне об императоре, без горечи, без упреков, но с глубокой грустью:

— Император рассудителен, умен, трудолюбив. Его идеи большей частью здравы. У него возвышенное представление о своей роли и полное сознание своего долга. Но его образование недостаточно, и величие задач, решение которых составляет его миссию, слишком часто выходит из пределов досягаемости его понимания. Он не знает ни людей, ни дел, ни жизни. Его недоверие к себе самому и к другим заставляет его остерегаться всякого превосходства. Таким образом, он терпит возле себя лишь ничтожества. Наконец, он очень религиозен, узкой и суеверной религиозностью, которая делает его очень ревнивым к его верховной власти, потому что она дана ему богом.

Мы опять возвращаемся к императрице:

— Я всеми силами протестую,—говорит он,—против гнусных сплетен, распространяемых о ней в связи с Распутиным. Это благороднейшая и честнейшая женщина. Но она больна, страдает неврозом, галлюцинациями и кончит в бреду мистицизма и меланхолии... Я никогда не забуду ее странных слов, сказанных в сентябре 1911 г., когда я заменил несчастного Столыпина *). В то время, как я говорил о трудности моей задачи и привел в пример моего предшественника, она резко перебила меня: „Владимир Николаевич, не говорите больше об этом человеке. Он умер, потому что провидение судило, что в этот день его не станет. О нем, значит, кончено; не говорите о нем больше

*) Убитого в Киеве 14 сентября 1911 г. Он приходился шурином Сивопову.

никогда". Она, впрочем, отказалась пойти помолиться у его гроба, и император не изволил присутствовать на похоронах, потому что Столыпин, как ни был он до самой своей смерти предан царю и царице, осмелился сказать, что общественный строй нуждается в реформе!..

Среда, 30 августа.

Русские продолжают продвигаться вперед от Стохода до Карпат, т.-е. на фронте в 320 километров.

Но они подвигаются вперед очень медленно, что объясняется утомлением людей и лошадей, возрастающей трудностью сообщений в тылу, изношенностью артиллерии, наконец, необходимостью беречь снаряды.

Таким образом, Румыния вступает в войну в момент, когда русское наступление дышет на ладан.

Суббота, 3 сентября.

В Галиции русские продвигаются по направлению к Галичу. К северу от Трансильванских Альпов румыны заняли Прассо (Кронштадт). В бассейне верховьев молдавского Серета они действуют в согласии с русскими и переходят Карпаты.

У Салоник армия генерала Саррай осторожно наступает.

На Соме энергичное возобновление англо-французского наступления.

Понедельник, 4 сентября.

За чаем у м-ме С... Мы говорим о скуке, являющейся хронической болезнью русского общества. Хорошенькая княгиня Д..., высокая и стройная, стоя и по обыкновению сложив за спиной руки, молча слушает нас. Скептический и мечтательный огонек сверкает в глу-

бине ее хищных глаз. Совершенно неожиданно она небрежно роняет слова:

— Это любопытно. Вас, мужчин, когда вами овладевает скука, она убивает, подкашивает у вас ноги; вы ни на что больше не годны; можно надорваться, стараясь вас вновь завести. Нас же, женщин, скука, напротив, будит, подгоняет, дает нам желание делать невозможные глупости, всевозможные безрассудства. И нас удержать еще труднее, чем вас вновь завести.

Наблюдение верное. Вообще мужчины скучают от утомления, от пресыщения, от злоупотребления удовольствиями, алкоголем, игрой, тогда как у женщин скука чаще всего вызывается монотонностью их существования, ненасытной жаждой эмоций, тайными призывами их сердца и чувств. Отсюда подавленность первых и возбужденность последних.

Четверг, 7 сентября.

Ошибка, которую сделал Братиано, не признав конвенции Рудеану, и которую разделили с ним союзники, согласившись на это непризнание, начинает приносить свои плоды.

В то время, как румынские войска продвигаются на Карпаты, занимая Брассо, Германштадт и Орсову, австро-болгары проникают в Добруджу и приближаются к Силистрии. Румынский корпус, застрявший на правом берегу Дуная, в окрестностях Туртукая, понес даже серьезное поражение; он потерял около двенадцати тысяч человек и двести пушек.

При этом известии в Бухаресте заволновались, и волнение было тем сильнее, что неприятельские авионы уже три дня непрерывно бомбардируют город.

Пятница, 8 сентября.

Генерал Жоффр, основательно обеспокоенный опасностью, угрожающей Румынии, требует немедленной отправки 200.000 русских в Добруджу. Я энергично поддерживаю его просьбу перед Штюмером, доказывая ему, что дело идет о всей политике Союза и самом исходе войны. Он мне говорит:

— Во время моей недавней поездки в Могилев я обсуждал с генералом Алексеевым вопрос о возможности интенсификации наших операций против болгар. Генерал, конечно, понимает, какое огромное преимущество извлекли бы мы из скорого восстановления сообщений с Салониками, но он заявил мне, что ему не хватает на это сил. В самом деле, задача состоит не просто в отправлении 200.000 человек в Добруджу; задача в том, чтоб составить из этих 200.000 человек армию с офицерами, лошадьми, артиллерией и всеми необходимыми приспособлениями. Это составило бы пять корпусов армии; у нас их нет в резерве; значит, их надо было бы снять с фронта. А вы знаете, что на нашем фронте нет ни одного пункта, где сейчас не происходило бы боев. Генерал Алексеев ведет операции с тем большей энергией, что подходит зима. Так что я сомневаюсь, чтобы он согласился предложить царю отправить армию южнее Дуная. Подумайте только, сколько понадобилось бы времени, чтобы организовать и перебросить эту армию. Шесть недель, по меньшей мере!.. Не было ли бы тяжкой ошибкой нейтрализовать таким образом 200.000 человек на такой дальний срок?..

— А царь?.. Говорили вы с ним об этом?

— Царь согласен во всем с генералом Алексеевым.

— Вопрос—достаточно серьезный, заслуживающий быть вновь рассмотренным. И я прошу вас настоять на этом пред царем, сообщив ему мои доводы.

— Я сегодня же доложу царю о нашем разговоре.

Суббота, 9 сентября.

Русский финансист, по происхождению датчанин, поддерживающий непрерывные сношения со Швецией и, таким образом, всегда хорошо осведомленный о германском общественном мнении, сказал мне:

— Уже несколько недель Германия переживает общий кризис усталости и боязни. Никто больше не верит в молниеносную победу, которая доставит торжествующий мир. Одни только крайние пангерманисты притворяются, будто еще верят этому. Непреодолимое сопротивление французов у Вердена и продвижение русских в Галиции создали глубокое разочарование, которое не ослабевает. Начинают также поговаривать, что подводная война—ошибка и глупость, что она несколько не мешает Франции и Англии получать продовольствие, что германские державы рискуют дожидаться скоро от Соединенных Штатов об'явления войны и пр... Наконец, экономические затруднения растут и бунты из-за продовольственных ограничений все учащаются, в особенности, в северной Германии.. Чтоб остановить этот кризис пессимизма, кайзер недавно назначил маршала Гинденбурга начальником главного штаба вместо генерала Фалькенгайна. Это назначение уже несколько подняло настроение. Теперь все надежды германского народа сосредоточены на спасителе Восточной Пруссии, победителе при Танненберге. Официозная пресса превозносит в льстивых

113

выражениях благородство его характера, величие его концепций, гениальную виртуозность его маневров; она не боится ровнять его с Мольтке, сравнивает с Фридрихом Великим. Полагают, что он пожелает немедленно оправдать это восторженное доверие. Так как невозможна никакая победа ни на русском фронте, ни на западном, то предполагают, что он постарается отличиться в Румынии.

Вторник, 12 сентября.

Княгиня Палей пригласила меня сегодня пообедать вместе с великой княгиней Марией Павловной.

Общество совершенно интимное: тем удобнее мне говорить с великой княгиней, которой я не видел со времени опалы Сазонова.

Мы возобновляем наш разговор в том пункте, на котором мы его прервали, и измеряем пройденный путь. Наши сведения сходятся: царица все больше вмешивается в общую политику; царь все меньше оказывает ей сопротивление.

— Так, например, — говорит мне великая княгиня, — царь не выносит Штюмерера; он знает, что он неспособен и нечестен; он догадывается о его игре с царицей, и это его раздражает, потому что он не менее ревнив к своему авторитету по отношению к царице, чем по отношению ко всякому другому. Но у него не хватало мужества поддержать Сазонова и он позволил навязать себе Штюмерера.

— При нем, значит, нет никого, кто открыл бы ему глаза?

— Никого... Вы знаете его приближенных!.. Старый Фредерикс говорит с ним откровеннее всех. Но он не имеет никакого влияния... Притом не думайте,

что царь так нуждается в том, чтобы ему раскрыли глаза. Он очень хорошо знает, что делает; он вполне сознает свои заблуждения и ошибки. Его суждение всегда прямолинейно. Так, я уверена, что в настоящее время он горько упрекает себя за отставку Са-
зонова.

— Тогда почему он их делает, эти заблуждения и ошибки? Ведь, в последнем счете, последствия падают прямо на него!

— Потому что он слаб, потому что у него не хватает энергии противиться требованиям и сценам царицы!.. И потом по другой причине, гораздо более серьезной: он—фаталист. Когда дела идут плохо, он, вместо того, чтобы так или иначе на это реагировать, внушает себе, что так хотел бог и предается воле божьей!.. Я уже видела его в таком душевном состоянии после поражений в Манджурии и во время беспорядков 1905 г.

— Но разве он теперь в таком состоянии?

— Я боюсь, что он недалек от этого; я знаю, что он грустен, беспокоится, видя, что война бесплодно затягивается.

— Вы считаете его способным отказаться от борьбы и заключить мир?

— Нет, никогда, по крайней мере, до тех пор, пока на русской территории будет хоть один неприятельский солдат. Он дал в этом клятву перед богом и знает, что если он не сдержит этой клятвы, то рискует вечным спасением. Наконец, в нем есть глубокое чувство чести и он не предаст своих союзников. В этом пункте он всегда будет непоколебим. Мне кажется, я уже вам говорила это: он пойдет на смерть скорее, чем подпишет позорный предательский мир..

Среда, 13 сентября.

Генерал Жанен сообщает мне беседу, которую он имел позавчера в Могилеве с царем и которая, к несчастью, подтверждает то, что говорил мне Штюмер пять дней тому назад.

Царь заявил ему, что он не в состоянии отправить 200.000 человек в Добруджу; он ссылается на то, что галицийские и азиатские войска понесли за последние недели тяжелые потери и он обязан послать им имеющиеся подкрепления. В заключение, он просил генерала Жанена телеграфировать генералу Жоффру, что он настоятельно просит его предписать генералу Саррай более энергично действовать. Царь несколько раз повторял: „Это—просьба, с которой я обращаюсь к генералу Жоффру“.

Четверг, 14 сентября.

С некоторого времени ходят слухи, что Распутин и Штюмер не ладят больше друг с другом: их не встречали больше вместе; они больше не бывали друг у друга.

Между тем, они видятся и совещаются ежедневно. Совещания их происходят по вечерам в самом секретном месте в Петрограде, в Петропавловской крепости.

Комендантом романовской Бастилии состоит генерал Никитин, дочь которого принадлежит к числу пламеннейших поклонниц „старца“. Через нее-то и обмениваются посланиями Штюмер и Гришка; она отправляется за Распутиным в город и привозит его в своем экипаже в крепость; в доме коменданта, в комнате самой m-lle Никитиной, и сходятся сообщники.

Почему они окружают себя такой тайной? Почему они выбрали это таинственное место? Почему сходятся они

лишь после наступления ночи? Может быть, чувствуя, что на них тяготеет всеобщая ненависть, они хотят скрыть от публики близость своих отношений. Может быть, они боятся, как бы бомба анархиста не помешала их свиданиям.

Но из всех трагических сцен, о которых хранит воспоминание страшная государственная тюрьма, есть ли более зловещая, чем эти ночные встречи двух злодеев, губящих Россию?

Пятница, 15 сентября.

Мне уже неоднократно приходилось упоминать в этом дневнике, что у русских нет точного представления о пространстве, что они вообще довольствуются неопределенными расчетами, приблизительными цифрами. Но и их представление о времени не менее смутно. Сегодня я еще раз был поражен этим, присутствуя у Штюрмера на военном совещании, на котором рассматривались способы оказать помощь Румынии. В изложенной нам программе перебросок большинство дат остаются неопределенными, сроки недостаточны или слишком продолжительны, согласование проблематично; мы спорим в тумане. Эта неспособность представить себе отношения между фактами во времени еще больше чувствуется, естественно, у безграмотных, составляющих массу. И этим замедляется вся экономическая жизнь русского народа.

Явление это, впрочем, легко об'яснить, если допустить, что точное представление времени есть ничто иное, как порядок последовательности, введенный в наши воспоминания и проекты, организация наших внутренних образов относительно точки опоры, каким является наше настоящее состояние. А у русских

чаще всего эта точка опоры колеблется и затуманена, потому что их восприятие действительности никогда не бывает особенно отчетливым, потому что они не ограничивают ясно своих ощущений и идей, потому что их внимание слабо, потому что, наконец, их рассуждения и расчеты всегда почти смешаны с мечтою.

Суббота, 16 сентября.

Под растущим напором болгар румыны постепенно очищают Добруджу. И каждый день, каждую ночь австрийские аэропланы, вылетев из Рущука, бомбардируют Бухарест.

С того дня, когда была отвергнута конвенция Рудеану, эти несчастья легко было предвидеть. Румынское правительство дорого платится за ошибку, которую оно совершило, направив все свои военные усилия на Трансильванию, дав себя обмануть несколькими неопределенными словами, дошедшими из Софии, и, в особенности, вообразив, что болгары могли отказаться отомстить с оружием в руках за свое поражение и унижение в 1913 г.

• *Воскресенье, 17 сентября.*

Сегодня вечером в Мариинском театре идут два балета и в обоих главную роль исполняет Карсавина.

Роскошная зала с лазоревой драпировкой с золотыми гербами переполнена: сегодня открытие зимнего сезона, возобновление балетов, в которых русское воображение с наслаждением следит, сквозь музыку, за игрой изменчивых форм и ритмических движений. Начиная креслами партера и кончая последним рядом верхней галлереи, я вижу лишь радостные и улыбаю-

щиеся лица. Во время антрактов ложи оживляются легкими разговорами, заражающими весельем блестящие глаза женщин. Неприятные мысли о текущем моменте, зловещие картины войны, мрачные перспективы будущего рассеялись, как бы по маговению волшебного жезла, при первых звуках оркестра. Приятное очарование застилает все глаза.

Автор „Исповеди курильщика опиума“, Тома де Кансэ, рассказывает, что опиозное снадобье часто доставляло ему иллюзию музыки. Русские, наоборот, требуют от музыки действия опиума.

Вторник, 19 сентября.

Зима уже даст о себе знать. Медленный, невидимый и холодный дождь заволок бурое небо как бы снежным паром. С четырех часов становится темно. Кончая около этого времени свою прогулку, я проезжаю мимо небольшой церкви Спасителя, которая высятся на берегу Невы близ арсенала. Я останавливаю экипаж и иду осмотреть этот поэтический храм, в который я не заглядывал с начала войны.

Это один из немногих петроградских храмов, где не режет глаз условный и пышный стиль итало-германской архитектуры; это, может быть, единственный, где вдыхаешь атмосферу сосредоточенности, мистический аромат. Построенный в 1910 г. в память 12.000 моряков, погибших во время войны с Японией, он является воспроизведением прелестного экземпляра московского зодчества XII века, церкви в Боголюбове близ Владимира.

Извне простые, ясные линии, римские арки и стройный купол. Внутри, в темном полумраке, голые

стены украшены одними только бронзовыми досками, на которых выгравированы имена всех судов, офицеров и матросов, погибших в Порт-Артуре, во Владивостоке, при Цусиме. Я не знаю ничего трогательнее этого некролога. Но волнение усиливается, доходит до экстаза, когда ваш взор обращается к иконостасу. В глубине темной ниши Христос сверхчеловеческого роста несется, сияет в золотом ореоле над темными волнами. Величием позы, широтой жеста, бесконечной скорбью, которую излучают глаза, образ напоминает самые прекрасные византийские мозаики.

Когда я пришел сюда в первый раз, в начале 1914 г., я не понял всего патетического символизма этого священного лика. Теперь он представляется мне поразительно величественным и выразительным; он как бы передает последнее видение, которое поддерживало, успокоило, очаровало тысячи и тысячи людей в минуту агонии во время этой войны.

По естественной ассоциации я вспомнил, что Распутин сказал как-то царице, заплакавшей при известии об огромных потерях в большом сражении: „Утешься. Когда мужик умирает за своего царя и свое отечество, еще одна лампада тотчас зажигается перед престолом господним“.

Среда, 20 сентября.

По всей линии румынского фронта приводится в исполнение план Гинденбурга. В Добрудже и по Дунаю, в округе Орсовы и в ущельях Карпат, германские, австрийские, болгарские и турецкие силы оказывают смыкающееся и непрерывное давление, под которым румыны всегда отступают.

Пятница, 22 сентября.

Неужели политическая карьера Штюмера находится в опасности?

Меня уверяют, на основании правдоподобных признаков, что его ожесточенный враг, министр юстиции Хвостов, погубил его во мнении царя, разоблачив перед царем подкладку дела Мануйлова и напугав его перспективой неминуемого скандала. Какова эта подкладка? Об этом ничего не знают; но несомненно, что между Штюмером и директором его секретариата есть труп или несколько трупов.

Говорят даже, что уже намечен преемник Штюмера на посту председателя совета министров. Это будто бы теперешний министр путей сообщения Александр Федорович Трепов. Я мог бы себя только поздравить с таким выбором: Трепов честен, умен, трудолюбив, энергичен и патриот.

Обедал сегодня в ресторане Донон с Коковцевым и Путиловым. Бывший председатель совета министров и богатейший банкир соперничают друг с другом и пессимизме; один превосходит другого.

Коковцев заявляет:

— Мы идем к революции.

Путилов возражает:

— Мы идем к анархии.

Для большей точности он прибавляет:

— Русский человек не революционер; он анархист. А это большая разница. У революционера есть воля к восстановлению; анархист думает только о разрушении.

Суббота, 23 сентября.

Чтоб облегчить положение Румынии, союзники наступают на всех фронтах.

В Артуа и Пикардии англичане и французы берут штурмом длинную линию германских траншей. В округе Изонцо итальянцы форсируют наступление к востоку от Горицы. В Македонии англичане переходят через Струму, между тем как французы и сербы, захватив Флорину, стремительно гонят болгар по направлению к Монастырю. На Волыни от Пинских болот до района к югу от Луцка русские тревожат австро-германцев. В Галиции они продвигаются к Лембергу и к юго-западу от Галича. Наконец, на буковинских Карпатах они отбили у неприятеля несколько позиций к северу от Дорна-Ватра.

Вторник, 26 сентября.

В Афинах положение ухудшается: дуэль между королем и Венизелосом находится в решительной фазе.

Один русский журналист, о близости которого к Штюмеру я знаю, пришел ко мне и сообщил по секрету, что „некоторые особы при дворе“ предвидят без огорчения возможность династического кризиса в Греции и возлагают даже некоторую надежду на французское правительство в смысле ускорения этого кризиса, „который был бы так благоприятен для дела союзников“.

Я ему осторожно отвечаю, что идеи, которыми руководится Бриан в своей политике по отношению к Греции, отнюдь не требуют династического кризиса и что королю Константину предоставляется самому осуществить великолепную программу национального расширения, которую предлагают ему союзные правительства. Он не настаивает.

Игру Штюмера и „особ при дворе“, орудием которых является этот журналист, нетрудно разгадать.

Сторонники русского самодержавия, очевидно, не могли бы способствовать низвержению трона. Но если события в Греции должны привести к об'явлению республики, не лучше ли было бы,—говорят они себе,—прекратить кризис, заменив одного монарха другим?.. Кандидатов в русской царской фамилии хватит! А так как самодержавному правительству не пристало заниматься такой грязной работой, как низвержение короля, то правительству французской республики сам бог велел заняться этой неприятной операцией.

Двоюродный брат микадо, принц Котохито Канин, прибывает завтра в Петроград; он приезжает отдать царю Николаю визит, который великий князь Георгий Михайлович недавно сделал императору Иашихито.

По распоряжению полиции на главных улицах множество русских и японских флагов.

Эти приготовления внушают мужикам странные мысли. В самом деле, мой морской атташе, майор Галло, рассказывает мне, что только-что на Марсовом поле его извозчик обернулся к нему и, указывая на занятых обучением новобранцев, спросил его насмешливым тоном:

— Зачем их обучают?

— Да для того, чтоб драться с немцами.

— Зачем?... Вот я в 1905 г. участвовал в кампании в Манчжурии; был даже ранен при Мукдене. Ну, вот! а сегодня видишь, все дома украшены флагами, а на Невском стоят триумфальные арки в честь японского принца, который должен приехать... Через несколько лет то же самое будет с немцами. Их тоже будут встречать триумфальными арками... Так зачем же убивать тысячи и тысячи людей, ведь,—все это, наверное, кончится тем же, что и с Японией?

Среда, 27 сентября.

Штюрмер провел три дня в Могилеве при царе. Он, говорят, очень ловко оправдался. Из дела Мануйлова он кое-как выпутался, уверяя, что погрешил лишь снисходительностью и простодушием. Наконец, он поставил на вид, что близок созыв Думы, что революционные страсти кипят и что более, чем когда-либо, важно не ослаблять правительства. Он напрасно потратил бы свое красноречие, если бы царица не поддержала его со своей упорной энергией. Он спасен.

Я видел его сегодня в его кабинете; вид у него спокойный и улыбающийся. Я расспрашиваю его прежде всего о военных делах:

— Отдает ли себе генерал Алексеев точный отчет в высоком преимущественном интересе, какой представляет для нашего общего дела спасение Румынии?

— Я имел возможность убедиться, что генерал Алексеев придает очень большое значение операциям в Добрудже. Так, четыре русские и одна сербская дивизии перешли уже Дунай; скоро будет отправлена вторая сербская дивизия. Но это максимум того, что царь разрешает сделать в этой области. Вы, ведь, знаете, что у Ковеля и Станислава нам приходится бороться с огромными силами.

Он подтверждает то, что сообщили мне, с другой стороны, мои офицеры, а именно, что русские войска в Галиции понесли в последнее время чрезвычайно большие потери без заметного результата. От Пинска до Карпат им приходится сражаться с 29 германскими дивизиями, 40 австро-венгерскими и двумя турецкими; их задача чрезвычайно затруднена недостатком тяжелой артиллерии и аэропланов.

Затем мы говорим о министерском кризисе, разразившемся в Афинах, и о национальном движении, организуемом вокруг Венизелоса.

— У меня еще не было времени прочитать все телеграммы, полученные этой ночью; но я могу теперь же сообщить вам, что царь отозвался о короле Константине в очень суровых выражениях.

Четверг, 28 сентября.

Театральный трюк в Греции. Венизелос и адмирал Кундуриотис тайно отплыли в Крит, где повстанцы объявили себя за Антанту. Националистические манифестации проходят по улицам Афин. В то же время тысячи офицеров и солдат собираются в Пирее, требуя отправления в Салоники для вступления в армию генерала Саррамб.

Я обсуждаю вместе со Штюмером возможные последствия этих событий:

— От нас зависит,—говорю я,—чтобы положение изменилось в нашу пользу, если мы будем действовать сколько-нибудь скоро и решительно.

— Конечно... конечно...

Затем, неуверенно, как бы подыскивая слова, он возражает:

— Что мы сделаем, если король Константин станет упорствовать в своем сопротивлении?

И странно смотрит на меня взглядом вопрошающим и убегающим. Он повторяет свой вопрос.

— Что сделаем мы с королем Константином?

Если это не намек, то это, по меньшей мере, приманка и явно связанная с псевдо-конфиденциальным сообщением русского журналиста.

Я отвечаю в уклончивых выражениях, что афинские события мне еще недостаточно точно известны, чтобы я мог рисковать формулировать практическое мнение. Я прибавляю:

— Я предпочитаю к тому же подождать, пока г. Бриан ознакомит меня с своей точкой зрения; но я не премину сообщить ему, что, по вашему мнению, настоящий кризис непосредственно задевает короля Константина.

Затем мы переходим к другим сюжетам: визит принца Канина, неудача военных операций в Добрудже и в Трансильванских Альпах и пр.

Уходя, я замечаю на панно кабинета три гравюры, которых там не было накануне. Одна изображает венский конгресс, вторая — парижский, третья — берлинский.

— Я вижу, уважаемый господин председатель, что вы окружили себя знаменательными изображениями?

— Да, вы знаете, я сгорячо люблю историю. Я не знаю ничего более поучительного...

— И более обманчивого.

— О, не будьте скептиком. Нельзя никогда достаточно верить!.. Но вы не замечаете самого интересного.

— Не вижу...

— Вот это пустое место.

— Ну, что же?

— Это место, которое я оставляю для картины ближайшего конгресса, который будет называться, если бог меня услышит, московским конгрессом.

Он перекрестился и закрыл на мгновение глаза, как бы для краткой молитвы.

Я отвечаю просто.

— Но разве будет конгресс? Разве мы не условились заставить Германию согласиться на наши условия?

Увлеченный своей мыслью, он повторяет в экстазе:
— Как это было бы прекрасно в Москве!... Как это было бы прекрасно!... Дай бог, дай бог!

Он даже видит себя канцлером империи, преемником Нессельроде и Горчакова, открывающим конгресс всеобщего мира в Кремле. В этом его мелочность, глупость и самовлюбленность обнаруживаются в полной мере. В тяжелой задаче, одной из самых тяжелых, когда-либо ложившихся на человеческие плечи, он видит лишь повод к бахвальству... и личным выгодам.

Вечером я в парадной форме опять прихожу в министерство иностранных дел, где председатель совета министров дает обед-гала в честь принца Канина.

Слишком много света, цветов, серебра и золота, слишком много блюд, лакеев, музыки. Это настолько же оглушительно, насколько и ослепительно. Я помню, что при Сазонове в доме царя лучший тон и официальная роскошь сохраняла хороший вкус.

За столом председательствует великий князь Георгий Михайлович; я сижу налево от Штюмерера.

Во время всего обеда мы говорим лишь о вопросах банальных. Но за десертом Штюмерер ex abrupto говорит мне:

— Московский конгресс!... Не думаете ли вы, что это было бы великолепным освящением франко-русского союза. Сто лет спустя после пожара наш святой город был бы свидетелем того, как Россия и Франция провозглашают мир всего мира...

И он с интересом начинает развивать эту тему.

Я возражаю:

— Мне совершенно неизвестно мнение моего правительства о месте ближайшего конгресса и меня даже удивило бы, при данном состоянии наших военных опе-

раций, если бы г. Бриан остановил свое внимание на столь отдаленной возможности. Я, впрочем, и не желаю, как я уже говорил вам утром, чтобы конгресс состоялся. По моему мнению, мы в высокой степени заинтересованы в урегулировании общих условий мира между союзниками, чтобы заставить наших врагов принять их *en bloc*. Часть работы уже сделана, мы пришли к соглашению по вопросам о Константинополе, проливах, Малой Азии, Трансильвании, Адриатическом побережье и пр. Остальное будет сделано в свое время... Но, прежде всего и сверх всего, подумаем о победе. Девизом нашим должно было бы быть: *Primum et ante omnia—vincere!*... За ваше здоровье, мой дорогой председатель!

В течение вечера я беседовал с принцем Канин. Упомянув о своем долгом пребывании во Франции, в Самюрской школе, он говорит о том, как он тронут сердечным приемом императора и какое приятное впечатление произвел на него прием толпы. Мы говорим о войне. Я замечаю, что он избегает всякого определенного мнения, всякого суждения о ситуациях и фактах. Под его холодно хвалебными формулами я чувствую его презрение к побежденным в 1905 г., так плохо использовавшим данный им урок.

Пятница, 29 сентября.

Экономическое положение в последнее время много ухудшилось. Вздорожание жизни служит причиной всеобщих страданий. Предметы первой необходимости вздорожали втрое, сравнительно с началом войны. Дрова и яйца даже вчетверо, масло и мыло впятеро. Главные причины такого положения, к несчастью, так же глубоки, как и очевидны: закрытие иностранных рынков,

загромождение железных дорог, недостаток порядка и недостаток честности у администрации.

Что же это будет, когда скоро придется считаться, кроме того, с ужасами зимы и с испытаниями холода, еще более жестокими, чем испытания голода?

Суббота, 30 сентября.

В Галиции происходит упорный бой между Стырью и Золотой Липой. Русские, перейдя в наступление, пытаются пробить брешь в районе Красне и Бржезан, в 50 километрах от Львова.

Воскресенье, 1 октября.

Прием в японском посольстве в честь принца Камина. Один из самых блестящих вечеров, на нем присутствуют великие князья: Георгий, Сергей, Кирилл и пр.

Я поздравляю моего коллегу Мотоно с успехом. Он отвечает мне со своими обычными тонкостью и флегмой:

— Да, довольно удачно... Когда я прибыл послом в Петроград в 1908 г., со мной едва говорили, меня никуда не приглашали, а великие князья делали вид, будто не знают меня... Теперь все изменилось. Цель, которую я себе поставил, достигнута: Япония и Россия связаны истинной дружбой...

Во время давки у буфета я завожу беседу с высокопоставленным придворным сановником, Э..., который, подружившись со мной, никогда не упускает случая проявить предо мною свой подозрительный и неумеренный национализм. Я спрашиваю, что у него слышно нового.

Как будто не расслышав моего вопроса, он указывает мне на Штюмерера, разглагольствующего в не-

скольких шагах от нас. Затем с трагическим выражением лица бросает мне:

— Господин посол, как это вы и ваш английский коллега до сих пор не положили конца изменам этого человека?

Я его успокаиваю:

— Это сюжет, на который я охотно поговорю с вами... но в другом месте, не здесь. Вот приходите в четверг позавтракать *tête à tête*.

— Конечно, не премину.

Понедельник, 2 октября.

Бой, завязавшийся между Стырю и Золотой Липой, продолжается успешно для русских, которые прорвали первые неприятельские линии и взяли 500 пленных.

Но в районе Луцка, в ста километрах к северу, вырисовывается сильная контр-атака немцев.

Вторник, 3 октября.

Штюрмеру удалось свалить своего смертельного врага, министра внутренних дел, Хвостова; ему, значит, больше нечего бояться дела Мануйлова.

Новый министр внутренних дел—один из товарищей председателя Думы, Протопопов. До сих пор император редко выбирал своих министров из среды народного представительства. Выбор Протопопова не представляет, однако, никакой эволюции в сторону парламентаризма. Далеко не так...

По своим прежним взглядам Протопопов считается „октябристом“, т.-е. очень умеренным либералом. В июне прошлого года он входил в состав парламентской делегации, отправленной в Западную Европу, и в Лондоне,

как и в Париже, выказал себя горячим сторонником войны до конца. Но на обратном пути, во время остановки в Стокгольме, он позволил себе страшную беседу с немецким агентом, Паулем Варбургом, и, хотя дело остается довольно темным, он несомненно говорил в пользу заключения мира.

По возвращении в Петроград, он сблизился с Штюмером и Распутиным, которые скоро представили его императрице. Он быстро вошел в милость. Его сейчас же посвятили в тайные совещания в Царском Селе; ему давало на это право его знание тайных наук, главным образом, самой высокой и самой темной из них: некромантии. Кроме того, я достоверно знаю, что он был болен какой-то заразной болезнью, что у него осталось после этого нервное расстройство и что в последнее время в нем наблюдали симптомы, предвещающие общий паралич. Итак, внутренняя политика империи в хороших руках!

Среда, 4 октября.

Беликий князь Павел (сегодня его тезоименитство) пригласил меня к обеду вечером вместе с великим князем Кириллом и его супругой, княгиней Викторией, великим князем Борисом, великой княгиней Марией Павловной второй, m-me Нарышкиной, графиней Крейц, Димитрием Бенкендорфом, Савинским и пр.

Все лица как бы покрыты вуалью меланхолии. Действительно, надо быть слепым, чтобы не видеть зловещих предзнаменований, скопившихся на горизонте.

Великая княгиня Виктория со страхом говорит со мной о своей сестре, королеве румынской. Я не смею ее успокаивать. Ибо румыны с великим трудом оказывают сопротивление на Карпатах и, если они сколько-нибудь ослабеют, наступит полная катастрофа.

— Сделайте милость, — говорит она, — настаивайте, чтобы туда немедленно отправили подкрепление... Судя по тому, что пишет мне моя бедная сестра, — а вы знаете, как она мужественна, — нельзя больше терять ни одной минуты: если Румынии не будет без замедления оказана помощь, катастрофа неизбежна.

Я рассказываю ей о своих ежедневных настоячивых беседах со Штюмером:

— Теоретически он подписывается под всем, что я ему говорю, под всем, о чем я его прошу. На деле же он прячется за генерала Алексева, который, кажется, не понимает опасности положения. А император смотрит на все глазами генерала Алексева.

— Император в ужасном состоянии духа.

Не объясняя ничего больше, она быстро встает и под предлогом, будто идет за папиросой, присоединяется к группе дам.

Тогда я принимаюсь за каждого в отдельности, за великого князя Павла, великого князя Бориса и великого князя Кирилла. Они видели царя в последнее время; они живут в тесном общении с его приближенными: они, значит, занимают хорошее положение для того, чтоб доставить мне нужные сведения... Тем не менее, я остерегаюсь расспрашивать слишком открыто, потому что они стали бы уклоняться... Между прочим, и как бы не придавая этому значения, я возвращаюсь к мнениям царя; я намекаю на такое-то принятое им решение, на такое-то сказанное им мне слово. Они отвечают мне без опаски. И их ответы, которые они не имели возможность согласовать, не оставляют во мне никакого сомнения относительно морального состояния императора. В его речах ничего не изменилось: он попрежнему выражает свою волю к победе и уверенность в ней. Но

в его действиях, в его физиономии, в его фигуре, во всех отражениях его внутренней жизни чувствуется уныние, апатия, покорность.

Четверг, 5 октября.

Высокопоставленный придворный сановник Э... завтракает у меня в посольстве. Я не пригласил никого другого, чтоб он чувствовал себя вполне свободно.

Пока мы остаемся за столом, он сдерживается перед слугами. По возвращении в салон он выпивает один за другим два стакана шампанского, наливает себе третий, закуривает сигару и с разгоревшимся лицом, высоко подняв голову, смело задает мне вопрос:

— Господин посол, чего ждете вы, ваш английский коллега и вы, чтоб положить конец измене Штюмера?

— Мы ждем возможности формулировать против него определенное обвинение... Официально нам не в чем его упрекнуть; его слова и поступки совершенно корректны. Он даже поминутно заявляет нам: „Война до конца!... Нет пощады Германии!...“ Что касается его интимных мыслей и тайных маневров, у нас есть лишь впечатления, интуиции, которые, самое большее, позволяют нам предполагать и подозревать. Вы оказали бы нам выдающуюся услугу, если бы вы могли указать нам положительный факт, подтверждающий ваше мнение.

— Я не знаю никакого положительного факта, но измена очевидна. Неужели вы ее не видите?

— Недостаточно того, чтоб я ее видел; надо еще, чтобы я в состоянии был показать ее сначала моему правительству, а потом царю... Нельзя начинать такое серьезное дело без малейшего хотя бы доказательства.

— Вы правы,

— Так как мы пока что вынуждены довольствоваться гипотезами, скажите, прошу вас, как вы себе представляете то, что вы называете изменой Штюмера?

Тогда он заявляет мне, что Штюмер, Распутин, Добровольский, Протопопов и компания сами по себе имеют значение второстепенное и подчиненное, что они—простые орудия в руках анонимного и немногочисленного, но очень могущественного кружка, который, устав от войны и боясь революции, требует мира.

— Во главе этого кружка,—продолжает он,—вы найдете, конечно, дворянство балтийских провинций и всех главных придворных должностных лиц. Затем идет ультра-реакционная партия Государственного Совета и Думы; далее, наши сенатские владыки; наконец, все господа крупные финансисты и крупные промышленники. Через Штюмера и Распутина они держат в руках императрицу, а через императрицу—императора.

— О! они еще не держат в руках императора... И никогда его не будут держать в руках. Я хочу сказать, что они никогда не заставят его отделиться от его союзников.

— В таком случае они его убьют или заставят отречься от престола.

— Отречься?... Вы представляете себе отречение императора? В пользу кого?

— В пользу своего сына, под регентством императрицы. Будьте уверены, что в этом состоит план Штюмера или, вернее, тех, которые руководят им. Для того, чтобы достигнуть своих целей, эти люди ни перед чем не остановятся: они способны на все. Они провоцируют стачки, бунты, погромы, кризисы нищеты и голода; они создают везде такую нужду, такое уныние,

что продолжение войны станет невозможным. Вы их не видели за работой в 1905 г.

Я резюмирую все, что он мне сказал, и заключаю: — Первое, что надо сделать, это свалить Штюмера. Я над этим поработаю.

Суббота, 7 октября.

Между Стырью и Золотой Липой русских задерживают неприступные укрепления, сосредоточенные у Львова. Они, кроме того, вынуждены перенести свое главное усилие на сто километров к северу, в район Луцка, где на них сильно наседають немцы.

С начала их большого наступления войска генерала Брусилова взяли 430.000 человек, 550 пушек и 2.700 пулеметов.

М-ше Г..., муж которой занимает важный пост в министерстве внутренних дел, состоит уже много лет Нимфой Эгерией Штюмера. Честолюбивая интриганка, она поддерживала Бориса Владимировича в продолжение всей его административной деятельности. С тех пор, как ей удалось сделать из него, милостью Распутина, председателя совета министров, нет предела ее мечтам о его величии. Она сказала недавно одной из своих подруг, подчеркивая свои слова таинственной важностью, как если бы сообщила государственную тайну: „Вы скоро увидите великие события. В скором времени наше дорогое отечество вступит на истинно спасительный путь. Борис Владимирович будет премьером во величества императрицы...“

Воскресенье, 8 октября.

Лицо, очень точно осведомляющее меня обо всем, что говорят и делают в передовых кругах, отмечает

очень активную работу социал-демократической партии и, в особенности, ее крайней фракции, большевиков.

Затянувшаяся война, неуверенность в победе, экономические затруднения вновь оживили надежды революционеров. Готовятся к борьбе, которую считают близкой.

Вождями движения являются три депутата Государственной Думы: Чхеидзе, Скобелев и Керенский. Два очень сильных влияния действуют также из-за границы: влияние Плеханова, живущего в Париже, и влияние Ленина, нашедшего убежище в Швейцарии.

Что в особенности поражает меня в петроградском триумвирате, это—практический характер их деятельности. Разочарования 1905 г. принесли свои плоды. Не ищут больше соглашения с „кадетами“, потому что они буржуа и никогда не поймут пролетариата; нет больше иллюзий на счет немедленного содействия со стороны крестьянских масс. Поэтому ограничиваются тем, что обещают им раздел земли. Прежде всего организуют „вооруженную революцию“. Путем тесного контакта между рабочими и солдатами будет установлена „революционная диктатура“. Победа будет одержана, благодаря тесному единению фабрик и казармы. Керенский—душа этой работы.

Понедельник, 9 октября.

Новый министр внутренних дел Протопопов провозглашает крайне реакционную программу. Он не боится, говорит он, стать лицом к лицу с силами революции; если нужно будет, он провоцирует их для того, чтобы сразу покончить с ними; он чувствует себя достаточно сильным, чтобы спасти царизм и святую Русь православную, и он их спасет... Такие речи про-

износит он в своем интимном кругу с неиссякающим словообилием и самодовольными улыбками. А между тем, всего несколько месяцев тому назад его причисляли к умеренным либералам Государственной Думы. Его тогдашние друзья, уважавшие его настолько, что сделали его товарищем председателя Думы, не узнают его.

Резкость его речей объясняется, как меня уверяют, состоянием его здоровья: внезапные перемены характера, экзальтация, призраки и образы, неожиданно рождающиеся в его мозгу, составляют типичные симптомы, предвещающие общий паралич. С другой стороны, несомненно (я только-что узнал об этом), что его свел с Распутиным его врач, терапевт Бадмаев, этот монгольский шарлатан, применяющий к своим больным магические фокусы и чудодейственную фармакопею тибетских шаманов. Я уже упомянул о союзе, заключенном некогда у изголовья маленького царевича между внахарем-спиритом и „старцем“.

Давно посвященный в тайны учения, Протопопов был предназначен стать клиентом Бадмаева. Последний, беспрерывно занятый какой-нибудь интригой, сразу сообразил, что товарищ председателя Думы будет драгоценным рекрутом для камарильи императрицы. Во время своих кабалистических операций ему нетрудно было приобрести влияние на этот неуравновешенный ум, на этот больной мозг, в котором уже обнаруживаются симптомы, предшествующие мегаломании. Скоро он представил его Распутину. Политик-невропат и мистик-чудотворец были очарованы друг другом. Несколько дней спустя, Григорий указал императрице на Протопопова, как на спасителя, которого провидение приберегло для России. Штюрмер рабски поддержал. А император лишний раз уступил.

Вторник, 10 октября.

Румыны отступают по всей линии. Бездарность высшего командования, утомление и уныние войск; новости очень плохи.

Очень кстати генерал Бертело, который будет руководить французской военной линией в Румынии, прибыл в Петроград. Он произвел на меня наилучшее впечатление. Такое лукавство взгляда составляет контраст с массивным телосложением; ум ясный и положительный, простая и меткая речь. Но что преобладает во всей его личности, это — воля, спокойная, улыбающаяся, непреклонная.

Я представляю его Штюмеру, и мы тотчас начинаем обсуждать положение. При разговоре присутствуют Нератов и Бьюкенен. Я возвращаюсь к теме, столько раз развивавшейся мною, о капитальном значении, которое операции в районе Дуная имеют для России.

— Несмотря на блестящие успехи генерала Брусилова, ваше наступление не оправдало наших надежд. Если не произойдет поворота к лучшему, который становится со дня на день все менее вероятным, весь русский фронт, от Риги до Карпат, рискует скоро оказаться в блокаде, за недостатком тяжелой артиллерии и аэропланов. При этих условиях, если мы дадим раздавить Румынию, если Бухарест и Констанца попадут в руки неприятеля, пострадает, главным образом, Россия, так как Одесса окажется под угрозой, и дорога в Константинополь будет отрезана. Неужели генерал Алексеев не мог бы при такой перспективе набрать из всего состава своих армий отряд в три-четыре корпуса для отправки на помощь Румынии?

Наступление салоникиской армии проходит хорошо, но ее усилие останется бесплодным, если румынская армия будет выведена из боя.

Среда, 11 октября.

Мой японский коллега, виконт Мотоно, назначен министром иностранных дел. Из всех японцев, которых я знал, это, несомненно, самый свободомыслящий, наиболее сведущий в европейской политике, наиболее доступный европейской мысли и культуре. Я теряю в нем превосходного коллегу, очень надежного в личных отношениях и замечательно осведомленного.

Поздравив его, я расспрашиваю о направлении, которое он намеревается дать японской дипломатии.

— Я попытаюсь, — отвечает он мне, — применить идеи, которые я часто излагал вам. Я хотел бы прежде всего сделать более действительным наше участие в войне. Это будет труднейшей частью моей роли, потому что наше общественное мнение не представляет себе всемирного характера вопросов, которые решаются в настоящее время на полях сражения Европы.

В этом заявлении для меня нет ничего удивительного. Действительно, он всегда проповедывал своему правительству более активное вмешательство в европейский конфликт; он даже старался добиться того, чтобы корпуса японской армии были отправлены во Францию, наконец, не переставал настаивать, чтоб увеличить и ускорить посылку японских оружия и снарядов в Россию. При всех обстоятельствах он становится на точку зрения самого возвышенного понимания Союза...

При расставании он говорит мне:

— А положение внутреннее? Не беспокоит оно вас?

— Беспокоит?—Нет.—Тревожит? — Да... По моим сведениям, либеральные партии Думы решили не поддаваться ни на одну из провокаций правительства и отложить до другого времени свои требования. Опасность, значит, придет не от них, но события могут овладеть их волей. Военного поражения, голода, дворцового переворота—вот чего я в особенности боюсь. Если произойдет одно из этих трех событий, это неминуемая катастрофа.

Мотоно безмолвствует. Я продолжаю:

— Вы со мной не согласны?

Новое молчание. Его лицо морщится от напряженного размышления. Затем:

— Вы так точно передали мое мнение, что мне казалось, будто я слушаю себя самого.

Пятница, 13 октября.

Румынский посол, Диаманди, которого Братиано два месяца удерживал при себе, прибыл сегодня утром в Петроград после остановки в Ставке. Он пришел повидаться со мной.

— Император,—говорит он мне,—оказал мне самый сердечный прием и обещал сделать все возможное для спасения Румынии. Я был гораздо меньше удовлетворен своей беседой с генералом Алексеевым, который, кажется, не понимает страшной серьезности положения или, может быть, руководствуется эгоистическими задними мыслями, исключительной заботой о своих собственных операциях. Мне была дана миссия требовать немедленной посылки трех корпусов войск в район, расположенный между Дорна-Ватра и Ойтузской долиной; эти три корпуса могли бы перейти через Карпаты в Пиатре и Поланке, они прошли бы прямо на запад,

т.-е. к Вазаргели и Клаузенбургу. Вторжение в Валахию через южные Карпаты было бы немедленно остановлено. Но генерал Алексеев соглашается послать лишь два корпуса, которые должны будут оперировать исключительно в долине Быстрицы, около Дорна-Ватра, в связи с армией генерала Лещинского. И при том эти два корпуса будут взяты из рижской армии, так что придут в Трансильванию дней через пятнадцать-двадцать... Я заклинал его пойти нам навстречу шире, но я не в состоянии был убедить его в целесообразности идей румынского главного штаба.

Затем он сообщил мне, под каким скорбным впечатлением покинул он свою родину. Давность нашей дружбы позволяет ему говорить свободно. Я энергично представляю ему, что в военных поражениях нет ничего непоправимого, но что если румынское правительство и народ не возьмут себя немедленно в руки, Румыния безвозвратно погибла.

— Надо, во что бы то ни стало, чтоб ваша страна вышла из уныния и чтоб ваши министры вернули себе мужество. Они, впрочем, получают в лице генерала Бертело превосходное тоническое средство.

Понедельник, 16 октября.

Вот уже несколько дней в Петрограде циркулирует странный слух: уверяют, что Штюмер доказал, наконец, императору необходимость кончить войну, заключив, в случае надобности, сепаратный мир. Более двадцати лиц пришли ко мне с расспросами. Каждый получал от меня один и тот же ответ:

— Я не придаю этим рассказам никакого значения. Никогда император не предаст своих союзников.

Я думал, тем не менее, что легенда не пользовалась бы таким кредитом без содействия Штюмерера и его шайки.

Сегодня, по повелению императора, телеграфное агентство публикует официальную ноту, категорически опровергающую слух, распространяемый некоторыми газетами о сепаратном мире между Россией и Германией.

Вторник, 17 октября.

Я даю Мотоно прощальный обед. Кроме того, приглашены: председатель совета министров Штюмерер с супругой, министр путей сообщения Трепов, итальянский посол, полномочный министр Дании Скавенице с супругой, генерал Волков, княгиня Кантакузен, чета Половцевых, князь и княгиня Оболенские, генерал барон Врангель с супругой, виконт д-Аркур, который едет в Румынию с миссией французского Красного Креста, и другие, всего около тридцати человек.

М-ме Штюмерер поразительно подходит к своему супругу. Это та же форма ума, то же качество души. Я рассыпаюсь перед ней в любезностях, чтоб заставить ее говорить. Она угощает меня длинным панегириком императрице. Под потоком похвал и подхалимства я ясно чувствую искусную работу, благодаря которой Штюмерер овладел доверием императрицы. Он убедил эту бедную невропатку, считавшую себя до сих пор предметом ненависти всего своего народа, что ее, напротив, обожают:

— Нет того дня,—говорит мне м-ме Штюмерер,—когда императрица не получала бы писем и телеграмм, адресованных к ней рабочими, крестьянами, священниками, солдатами, ранеными. И все эти простые люди,

которые суть истинный голос русского народа, уверяют ее в своей горячей преданности, в своем безграничном доверии и умоляют ее спасти Россию.

Она наивно добавляет:

— Когда мой муж был министром внутренних дел, он тоже ежедневно получал такие письма либо непосредственно, либо через провинциальных губернаторов. И для него было большой радостью относить их императрице.

— Эта радость выпадает сейчас на долю г. Протопопова.

— Да, но у моего мужа есть еще много случаев констатировать, до какой степени ее величество императрица пользуется поклонением и обожанием в стране.

Притворно пожалев о том, что на ее мужа ложится такой тяжелый труд, я заставляю ее рассказать мне, как проводит время ее муж. И я констатирую, что вся его деятельность вдохновляется императрицей и кончается императрицей.

Во время вечера я расспрашиваю Трепова об экономическом кризисе, свирепствующем в России и нервирующем общественное мнение.

— Задача продовольственная,—говорит он мне,—действительно, стала доставлять много хлопот; но оппозиционные партии злоупотребляют этим для того, чтоб наладать на правительство. Вот, если говорить искреннюю правду, каково положение. Во-первых, кризис далеко не имеет общего характера; он достигает серьезных размеров только в городах и некоторых сельских поселениях. Правда, в некоторых городах, как, например, в Москве, публика нервничает. Однако, недостатка в продовольствии, кроме некоторых продук-

тов, приходивших из-за границы, нет. Но перевозочные средства недостаточны и метод распределения их неудовлетворителен. В этом отношении будут приняты энергичные меры. И я вас уверяю, что в непродолжительном времени положение улучшится; я надеюсь даже, что не позже, как через месяц, настоящие затруднения будут устранены.

Он добавляет конфиденциальным тоном:

— Мне хотелось бы спокойно побеседовать с вами, господин посол. Когда могли бы вы меня принять?

— Я буду у вас. Лучше, чтоб наша беседа происходила в вашем министерстве.

Бросив взгляд на Штюмера, он говорит:

— Да, это лучше.

Мы улаживаемся встретиться послезавтра.

Я подхожу к барону Врангелю, который разговаривает с моим военным атташе, подполковником Лавернь, и моим морским атташе, капитаном фрегата Галло. Адъютант великого князя Михаила, брата императора, он сообщает им впечатления, вынесенные из Галиции.

— Русский фронт, говорит он, теперь обложен от одного конца до другого. Не рассчитывайте больше ни на какое наступление с нашей стороны. К тому же, мы бессильны против немцев, мы их никогда не победим.

Четверг, 19 октября.

Трепов принимает меня в половине третьего в своем кабинете в министерстве путей сообщения, которое выходит окнами в Юсуповский сад.

Относительно экономического кризиса он повторяет мне, подкрепляя свои заявления точными циф-

рами, то, что он говорил мне позавчера, вечером, в посольстве. Затем, с откровенностью, подчас резкой, составляющей одну из черт его характера, он говорит со мной о Союзе и о целях, которые он себе ставит. Он заключает:

— Мы переживаем критический момент. То, что решается в настоящее время между Дунаем и Карпатами, это—исход или, вернее, затяжка войны, потому что исход войны не может... не должен больше вызывать сомнений. Совсем недавно я делал доклад императору, который разрешил мне говорить свободно, и я имел удовольствие убедиться, что он согласен со мной относительно необходимости не только поддерживать Румынию, но и атаковать серьезно Болгарию, лишь только румынская армия будет немного усилена и обстрелена. Именно на Балканском полуострове, и нигде больше, мы можем надеяться добиться в короткий срок решительного результата. Если нет, война затянется бесконечно... и с каким риском!

Я поздравляю его с тем, что он выражает так решительно идеи, которые я больше месяца защищаю перед Штюрмером.

— Но так как мы беседуем с полной откровенностью, я не скрою от вас, что на меня производят очень неприятное впечатление распространяемые со всех сторон пессимистические слухи. Я тем более огорчен этим, что эта пропаганда явно вдохновляется лицами с высоким общественным и политическим положением.

— Вы намекаете на лиц, требующих окончания войны во что бы то ни стало и возвращения России к системе немецких союзов... Позвольте мне, во-первых, сказать вам, что эти люди безумны. Мир без победы,

без полной победы это — немедленная революция. И именно эти лица были бы ее первыми жертвами.. Но мало того: есть воля императора, а эта воля непоколебима; никакое влияние не заставит ее поддаться. Еще только на-днях он повторял мне, что никогда не простит императору Вильгельму его оскорбления и вероломства, что он откажется вести переговоры о мире с Гогенцоллернами, что он будет продолжать войну до уничтожения прусской гегемонии.

— В таком случае, почему он вверяет власть г. Штюмеру, г. Протопопову, которые явно предадут его намерения?

— Потому что он слаб.. Но он не менее упрям, чем слаб. Это странно, но, однако, это так.

— Это не странно. Психологи объяснят вам, что упрямство лишь форма слабости. Поэтому его теперешнее упорство лишь наполовину успокаивает меня. Зная его характер, будут избегать сталкиваться с ним лицом к лицу; будут действовать за его спиной и без его ведома. В один прекрасный день его поставят перед совершившимся фактом. Тогда он уступит, или, точнее, махнет рукой и покорится.

— Нет, нет.. Я верю в моего монарха.. Но надо иметь мужество говорить ему правду.

Наша беседа продолжается больше часа. Я встаю, чтоб уйти. Но прежде, чем дойти до двери, я останавливаюсь у окна перед видом на Юсуповские сады, которые тянутся вдоль дворца министра. Почти стемнело и идет снег, как будто ночь спускается вместе с снегом в медленном падении хлопьев и мрака.

После неловкого молчания Трепов подходит ко мне. Потом, как будто приняв смелое решение, он заявляет мне энергично и коротко:

— Через несколько дней я опять увижу императора. Разрешите вы мне передать ему наш разговор?

— Я не только разрешаю вам, я прошу вас об этом.

— А если он спросит, на каких лиц вы намекаете?

— Вы назовете ему г. Штюрмера и г. Протопопова; вы можете прибавить, что если я не могу формулировать против них официально никакого положительного обвинения, я, тем не менее, убежден, что они враждебны Союзу, служат ему неохотно и готовятся изменить ему.

— Я повторю ему слово в слово... Вы понимаете, как важно все, что мы сейчас говорили. Могу я рассчитывать, что вы сохраните абсолютную тайну?

— Я вам это обещаю.

— Прощайте... Наша беседа будет иметь, может быть, важные последствия.

— Это зависит от вас... Прощайте!

Суббота, 21 октября.

Не думаю, чтобы среди тайных агентов, которых Германия держит в русском обществе, она имела более активных, более ловких, более влиятельных, чем банкир Манус.

Добившись обычным путем разрешения жить в Петрограде, он приобрел в последние годы значительное состояние маклерством и спекуляцией. Деловое чутье внушило ему мысль о близости с самыми маховыми защитниками трона и алтаря. Так, он рабски пресмыкался перед старым князем Мещерским, знаменитым редактором „Гражданина“, неустрашимым поборником православия и самодержавия. В то же время

его скромная и находчивая щедрость снискала ему мало-по-малу расположение всей шайки Распутина.

С начала войны он ведет кампанию за скорое примирение России с немецкими державами. К нему очень прислуживаются в мире финансов, у него есть связи с большинством газет. Он находится в непрерывных отношениях с Стокгольмом... т.-е. с Берлином. Я сильно подозреваю, что он является главным распределителем германских субсидий. По средам у него обедает Распутин. Адмирал Нилон, генерал-адъютант императора, числящийся при его особе, приглашается из принципа за умение пить, не пьянея. Другим неизменным гостем является бывший директор департамента полиции, страшный Белецкий, ныне сенатор, но сохранивший все свое влияние в „охранке“ и поддерживающий, через г-жу Вырубову, постоянное сношение с императрицей. Конечно, есть несколько милых женщин для оживления пира. В числе обычных гостей имеется очаровательная грузинка, г-жа Э., гибкая, вкрадчивая и обольстительная, как сирена. Пьют всю ночь напролет; Распутин скоро пьянеет и тогда болтает без удержу. Я не сомневаюсь, что подробный отчет об этих оргиях отправляется на следующий день в Берлин..., подкрепленный комментариями и точными подробностями.

Воскресенье, 22 октября.

Генерал Беляев, назначенный представителем русского командования в Румынии, пришел со мной проститься.

Он сообщает мне по секрету, что, кроме двух корпусов русских войск, которые уже отправлены в Молдавию и должны попытаться проникнуть в Трансиль-

ванию через Поланку, 7 ноября будет отправлен третий корпус в Валахию, где он будет действовать согласованно с румынской армией между Дунаем и Карпатами. Ему поручено заявить королю Фердинанду, что император не исключает возможности дальнейшей отправки новых подкреплений.

Я высказываю генералу Беляеву, что эта „дальнейшая“ отправка мне представляется крайне неотложной:

— Операции на балканском театре войны принимают с каждым днем все более решительный характер... и в какую сторону! Добруджа потеряна. Констанца скоро падет. Все проходы в Трансильванских Альпах форсированы. Подходит зима... Малейшее опоздание грозит оказаться непоправимым.

Он соглашается со мной:

— Я настаивал из всех сил перед императором и генералом Алексеевым, чтобы к Бухаресту была отправлена армия из трех-четырех корпусов. Там она соединится с румынской армией. Мы имели бы, таким образом, в сердце Румынии превосходную маневренную массу, которая позволила бы нам не только загородить проход Карпат, но и вторгнуться в Болгарию. Император убежден уже в правильности этой идеи; он признает необходимость добиться быстро крупного успеха на Балканах. Но генерал Алексеев не соглашается обнажить русский фронт; он боится, как бы немцы не воспользовались этим для того, чтоб импровизировать наступление в рижском направлении.

— Однако, командует император. Генерал Алексеев лишь его технический советник, он исполнитель его приказаний.

— Да, но его величеству очень неприятно навязывать свою волю генералу Алексееву.

— Я расспрашиваю генерала Беляева о моральном состоянии императора. Он отвечает мне с явным смущением:

— Его величество грустен, задумчив. Моментами, когда он говорит, у него вид такой, как будто он все не слышит... У меня осталось нехорошее впечатление.

Расставаясь со мной, он напоминает мне о всех важных конфиденциальных сообщениях, которыми мы с ним обменялись с начала войны; он благодарит меня за прием, который он всегда встречал с моей стороны, и заканчивает словами:

— Нам предстоит еще трудные дни, очень трудные...

Вторник, 24 октября.

Вопреки предвидениям Трепова, экономическое положение не только не улучшается, а ухудшается. По словам одного из моих осведомителей, обошедшего вчера промышленные кварталы Галерной и Нарвской, народ сгибает и озлобляется. Открыто обвиняют министров в том, что они поддерживают голод, чтоб вызвать волнение и иметь предлог к расправе против социалистических организаций. На фабриках по рукам ходят брошюры, подстрекающие рабочих устраивать забастовки и требовать заключения мира. Откуда эти брошюры? Никто этого не знает. Одни полагают, что они распространяются германскими агентами, другие полагают — „охранкой“. Везде повторяют, что „так продолжаться не может“. Большевики, или „экстремисты“, волнуются, организуют совещания в казар-

мах, заявляют, что „близится великий день пролетариата“.

Я спрашиваю моего осведомителя, который умен, достаточно честен и вращается в либеральных кругах:

— Думаете ли вы, что можно, здраво рассуждая, приписать этакому Штюрмеру или Протопопову макиавеллистическое намерение поддерживать голод с целью вызвать волнение и сделать невозможным, таким образом, продолжение войны?

Он отвечает мне:

— Но, господин посол, в этом состоит вся история России... Со времен Петра Великого и знаменитой Тайной Канцелярии именно полиция провоцировала всегда народные волнения, чтоб приписать себе затем честь спасения режима. Если продолжение войны будет угрожать опасностью царизму, будьте уверены, что Штюрмер и Протопопов прибегнут к классическим приемам „охранки“. Но на этот раз это не пройдет, как в 1905 г...

Среда, 25 октября.

Третьего дня австро-болгары взяли Констанцу. Мы не только теряем правый берег Дуная и возможность дальнейшего наступления к Балканам; мы теряем и дунайскую дельту, а, значит, и самую прямую дорогу из южной России в Румынию, из Одессы в Галац. Снабжение русской и румынской армий станет скоро неразрешимой задачей.

Ко мне пришел Диаманди. Он в отчаянии:

— Я трачу всю свою энергию на то, чтобы добиться посылки новых русских контингентов. В Главном Штабе заявляют, что можно только доложить об этом генералу Алексееву; я знаю, что это значит.

Когда я обращаюсь к Штюмеру, он ограничивается тем, что поднимает глаза к горе, повторяя:

— Не унывайте... Провидение велико и оно так милостиво. Так милостиво!

— Так что же делать?

— Повидайтесь с императором.

— Вы серьезно даете мне этот совет?

— Увы! что вы еще можете сделать?

Пятница, 27 октября.

Великая княгиня Мария Павловна открывает сегодня днем на углу Марсова поля и Мойки выставку протез для увечий лица. Она передала мне приглашение быть там.

На дворе невообразимо унылая погода. Небо—цвета аспидной доски и свинца—пропускает лишь свет гаснущий, бледный, бесцветный, свет затмения. В воздухе медленно вьются снежные хлопья. Почва бесконечного Марсова поля представляет собою лишь болото из липкой грязи и соленых луж. На заднем плане построенный по обету храм Воскресения окутан туманом, как креповой вуалью.

Я сопровождаю великую княгиню из залы в залу. Тусклый свет, проникающий через окна, еще больше усиливает зловещий характер этой выставки. В каждой витрине фотографии, гипсовые маски, восковые фигуры попеременно с аппаратами, чтобы показать их механизм и употребление. Все эти лица, искромсанные, раздранные, ослепленные, раздробленные, бескостные, утратившие подчас даже вид человеческий, составляют жестокое зрелище, которому поистине нет названия ни на одном языке. Самое бредовое воображение не могло бы

представить подобного музея ужасов. Сам Гойя не в состоянии был дойти до этих кошмарных образов; страшные офорты, в которых ему доставило удовольствие представить сцены убийства и пытки, бледнеют перед этими чудовищными реальностями.

Поминутно великая княгиня испускает вздох сожаления или закрывает рукой глаза. После того, как мы кончили обход галлерей, она идет в особо отведенный салон отдохнуть несколько минут. Там она усаживает меня возле себя; затем, приняв равнодушный вид, потому что на нас смотрят, она шепчет:

— Ах, мой дорогой посол, скажите мне, скажите мне скорей что-нибудь утешительное... Душа моя была уже очень мрачна, когда я вошла сюда. Ужасы, которых мы только-что насмотрелись, окончательно расстроили меня. Да, утешьте меня скорей!

— Но почему душа ваша была так мрачна, когда вы пришли сюда?

— Потому что... потому что... Нужно ли мне говорить вам это?

Затем она быстро перечислила причины своего беспокойства. На русском фронте наступление Брусилова остановлено без всякого решительного результата. В Румынии катастрофа неизбежна, неминуема. Внутри империи утомление, уныние, раздражение растут с каждым днем. Зима начинается при самых мрачных предзнаменованиях.

Я ее успокаиваю несколькими вариациями на мою обычную тему. Что бы ни случилось, говорю я, Франция и Англия будут продолжать войну до полной победы. И эта победа не может от них ускользнуть, ибо теперь установлено, что Германия так же неспособна равнять их, как и продолжать борьбу бесконечно. Если бы,

что невозможно, Россия теперь отделилась от союзников, она на следующий день оказалась бы среди побежденных; это было бы для нее не только несмысленным позором, это было бы национальным самоубийством. В заключение я спрашиваю великую княгиню:

— Вы так беспокоитесь; вы, значит, не верите больше императору?

Удивленная резкостью моего вопроса, она мгновенно пристально смотрит на меня растерянными глазами. Затем тихо говорит:

— Император?... Я всегда буду верить ему. Но есть еще императрица. Я их хорошо знаю обоих. Чем хуже будут идти дела, тем больше получит влияния Александра Федоровна, потому что у нее действительная, настойчивая неугомонная воля... У него, напротив, лишь отрицательная воля. Когда он сомневается в себе, когда он считает себя покинутым богом, он перестает реагировать; он умеет лишь замыкаться в инертном и покорном упорстве... Посмотрите, как велико уже теперь могущество императрицы. Скоро она одна будет править Россией...

Суббота, 28 октября.

Припоминая свою вчерашнюю беседу с великой княгиней Марией Павловной, я говорю себе:

— В общем, за вычетом, конечно, мистических заблуждений, у императрицы более закаленный, чем у императора, характер, более упорная воля, более сильный ум, более активные добродетели, душа более воинствующая, более царственная... Ее идея — спасти Россию, вернув ее к традициям теократического абсолютизма, — безумие, но обнаруживаемое ею при этом гордое упорство не лишено величия. Роль, которую

она присвоила себе в государстве, пагубна, но, по крайней мере, играет она ею, как царица... Когда она предстанет в „этой ужасной долине Иосафата“, о которой беспрестанно говорит Распутин, она сможет указать не только на безупречную прямогу своих намерений, но и на совершенное соответствие ее поступков принципам божественного права, на которых зиждется русское самодержавие...

Вторник, 31 октября.

Два дня уже бастуют все заводы Петрограда. Рабочие покинули мастерские, не выставя никакого мотива, по простому сигналу, полученному от тайственного комитета.

Сегодня вечером в министерстве иностранных дел был дан ужин в честь Мотоно.

В половине восьмого, в то время, как я заканчиваю свой туалет, мне докладывают, что два французских промышленника, Сико и Бонье, просят разрешения поговорить со мной по неотложному делу. Представители автомобильной фабрики „Луи Рено“, они состоят директорами большого завода на Выборгской стороне.

Я немедленно принимаю их. Они мне рассказывают:

— Вы знаете, господин посол, что мы никогда не имели повода быть недовольными нашими рабочими, потому что и они, с своей стороны, никогда не имели повода быть нами недовольными. Они и на этот раз отказались принять участие во всеобщей стачке... Сегодня днем, в то время, как работа шла полным ходом, толпа стачечников, пришедших с заводов Барановского, окружила нашу фабрику, крича: „Долой французов. Довольно воевать“. Наши инженеры и директора хо-

тели поговорить с пришедшими. Им ответили градом камней и револьверными выстрелами. Один инженер и три директора-француза были тяжело ранены. Подоспевшая в это время полиция скоро убедилась в своем бессилии. Тогда взвод жандармов кое-как пробрался через толпу и отправился за двумя пехотными полками, расквартированными в близ лежащих казармах. Оба полка прибыли через несколько минут; но вместо того, чтоб выручать завод, они стали стрелять по полицейским.

— По полицейским?

— Да, господин посол. Вы можете придти посмотреть на стенах нашей фабрики следы залпов.. Упало много городских и жандармов. Затем произошла крупная свалка... Наконец, мы услышали галоп казаков; их было четыре полка. Они налетели на пехотинцев и ударами пик загнали их в казармы. Теперь порядок восстановлен.

Я благодарю их за то, что они без замедления информировали меня, что дает мне возможность сегодня же вечером сообщить об инциденте председателю совета министров.

В министерстве обстановка не менее раскаленная и крикливая, чем на недавно происходившем обеде в честь принца Канина. Поздоровавшись с г-жей Штюрмер, я отвожу в сторону председателя совета министров и рассказываю ему о том, что только-что произошло у завода Рено. Он пытается доказать мне, что это—эпизод, не имеющий значения; он добавляет, что градоначальник ему уже докладывал об этом по телефону и что все меры для защиты завода приняты.

— Все же остается факт,—говорю я,—что войска стреляли по полицейским. А это важно... очень важно.

— Да, это важно, но репрессия будет беспощадна. Я покидаю его, в виду большого с'езда приглашенных.

Чтобы пройти к столу, мы пробираемся через лес пальм; их так много и их листва так роскошна, что можно подумать, что находишься в тропическом саду.

Я занимаю место между г-жей Нарышкиной, обер-гофмейстириной, и лэди Джорджиной Бьюкенен. Изящная и симпатичная вдова, г-жа Нарышкина, рассказывает мне о своей жизни в Царском Селе. „Статс-дама с портретом их величеств императриц“, „дама ордена св. Екатерины“, „высокопревосходительство“, она, несмотря на свои семьдесят четыре года, сохранила сиятельную и приветливую грацию и любит делиться воспоминаниями. Сегодня она настроена меланхолически:

— Моя должность гофмейстерины совсем не отнимает у меня времени. Время от времени личная аудиенция, какая-нибудь интимная церемония—вот и все. Их величества живут все более и более уединенно. Когда император приезжает из Ставки, он никого не хочет видеть вне своих рабочих часов и запирается в своих личных апартаментах. Что касается императрицы, то она почти всегда нездорова... Ее очень надо пожалеть.

Затем она рассказывает мне о многочисленных учреждениях, которыми она лично занята: о приютах для пансионеров, военных лазаретах, школах для подмастерьев, патронатах для заключенных женщин и пр.

— Вы видите,—продолжает она,—что я не сижу без дела. По вечерам, после обеда, я регулярно посещаю своих старых друзей Бенкендорфов. Они живут, как и я, в Большом Дворце, только в другом конце. Мы говорим немного о настоящем и много о прошлом. Около полуночи я их покидаю. Чтобы добраться

до моего аппарата, мне приходится пройти бесконечную анфиладу огромных салонов, которые вы знаете. Кое-где горят электрические лампочки. Старый слуга открывает передо мной двери. Это — длинный путь и невеселый. Я часто спрашиваю себя, увидят ли когда-либо эти салоны былые пышность и славу?... Ах, господин посол, как много вещей доживают теперь свой век!... И как плохо доживают!... Я не должна бы говорить вам это. Но мы все смотрим здесь на вас, как на истинного друга, и мыслим перед вами вслух.

Я ее благодарю за доверие и пользуюсь этим, чтобы заявить ей, что горизонт очень скоро прояснился бы, если бы император находился в более тесном общении со своим народом, если бы он обратился непосредственно к народной совести. Она отвечает:

— Вот это-то мы и говорим ему иногда, робко. Он с кротостью слушает нас и... заводит разговор о другом.

По примеру своего августейшего повелителя, и она заводит со мной разговор о другом. Случайно я произношу имя красавицы Марии Александровны Н., бывшей графини К., которая изящной отчетливостью форм и волнистой ритмичностью линий всегда напоминает мне „Диану“ Гудона. Г-жа Нарышкина говорит:

— Эта очаровательная женщина последовала новой моде, общей моде. Она развелась с мужем. И из-за чего? Из-за пустяка. Сергей Александрович К. был по отношению к ней безупречен; она никогда не могла формулировать против него никакого обвинения. Но в один прекрасный день она увлеклась, или ей показалось, что она увлеклась Н., человеком посредственным и во всех отношениях ниже Сергея Александровича, и, хотя у нее есть от последнего две дочери, она

покинула его и вышла замуж за первого.. Уверяю нас, когда-то очень редко разводились; нужны были очень серьезные, исключительные мотивы. И положение разводки было одним из самых тяжелых.

— Частые разводы, действительно, одно из наиболее поразивших меня здесь явлений. Я на-днях высчитал, что в известной мне части общества более, чем в половине супружеств, один или оба супруга—разведенные.. Вы заметили, мадам, что история Анны Карениной теперь уже непонятна. А, между тем, роман написан, кажется, в 1876 году. Теперь Анна немедленно развелась бы и вышла бы замуж за Вронского, и на этом роман бы закончился.

— Это правда.. Вы, таким образом, подчеркиваете, в какой мере развод стал общественной язвой.

— Но ответствен за это в значительной степени святейший синод,—ведь, в конце концов, от него одного зависят разводы?..

— Увы! сам святейший синод не является уже больше тем великим нравственным авторитетом, каким он был когда-то.

Обед приходит к концу. Мы оставались больше часа за столом.

В курительной комнате я заговариваю со Штюрмером о забастовках и инцидентах сегодняшнего дня. Его прием делает его таким радостным и гордым, что мне не удается поколебать его оптимизма.